# Ивановские ситцы

***Поэма

Государь Иван Васильевич Грозный
мало хаживал
по травушке росной,
а всё больше по коврам,
да по трупам,
да по мрамору —
с кровавым прихлюпом.
Государь Иван Васильевич Грозный
редко слушал соловьёв
ночью звёздной.
Чьи-то крики —
или в башнях, или в яме —
были царскими ночными соловьями.
Но однажды государь
был разбужен
не похмельным животом,
вконец разбухшим
от медов да пирогов с вязигой, —
а подмётной соловьиной музыкой.
Тонок был тот одинокий голос,
но живой,
как будто дышащий волос
на щербатом топоре после казни,
и царю он пел из мглы:
«Кайся,
кайся!..»
И покинул государь опочивальню.
В сад прокрался он, босой,
в рубахе длинной,
принимая в страхе
это бичеванье
уцелевшей чудом
песни соловьиной.
Думал царь,
обрывая повилику:
«Да, у них — у соловьёв — другие страсти.
Соловьиным обделён я,
поелику
наделён от бога бармами власти.
Ну а если эта власть не от бога,
а от дьявола?»
Он вздрогнул:
«Ересь, ересь…
Ты отступник, соловей.
Ты лжёшь убого.
Власть божественна.
Я в ней не разуверюсь!»
Государь в саду запутался, как в чаще,
и, певца ища когтями по-зверьи,
прохрипел он соловью:
«Я несчастен,
потому что никому не верю…»
И, столкнувшись на тропинке узковатой
с государем,
думный дьяк Висковатый
притворился,
что не слышал ни словечка.
(Правда, это не спасло его навечно.)
И сивухой опричники дышали,
тужась, яблони трясли и берёзы,
лишь впустую сбивая бердышами
аксамитово-жемчужные росы.
Висковатый сделал хитрую попытку
прекратить
соловьиную пытку.
Можно,
гнев царя учуяв песьим носом,
заглушить и соловья
доносом.
«Государь… —
промолвил дьяк Висковатый
с вороватой повадкой,
тороватой. —
Есть сумленье у меня
в печатном деле:
как бы мы проруху в нём не проглядели».
Государь Иван Васильевич Грозный
всё же был Ивана Фёдорова крёстный.
Самолично клал под пресс бумагу дерптскую
и разглядывал,
тая улыбку детскую,
и показывал гостям заморским званым:
«Вот какие наши русские Иваны…»
Царь насупился:
«Какая тут проруха?»
«А проруха
от печатного духа.
Ежли будет книг во множестве великом,
то холопы уподобятся владыкам.
Ну а вдруг в башку втемяшится Ивашке
отпечатывать подмётные бумажки?
Рукописное —
и то опасно словушко,
а печатное —
слышнее, чем соловушка.
Почивать оно тогда не даст и вовсе…»
Царь задумался:
«Ты, дьяк, не суесловься.
Есть ли письма те подмётные
аль нету?»
«Могут быть —
Закрой ты, царь, печатню эту».
«А Ивашка?
Длань моя карать устала».
«Намекнём.
Дадим в дорогу сала».

Государь Иван Васильевич Грозный
был умён,
хотя и не был умным прозван.
Пил и пил он в эту ночь,
лицом хмурея,
но его не утешала романея.
Тёмным людом править —
станешь сам тупица.
Править грамотными?
Лучше утопиться.
Вишни-яблони срубить под самый корень,
чтобы слуха соловей не беспокоил?
Срубишь —
будет петь на иве,
на раките.
Царь был добр к Ивашке.
Молвил:
«Намекните».
И намекнули.
Фёдоров Иван
прощался с государевой печатней.
и литеры,
спеша,
в мешок совал —
их пощадили редкостной пощадой.
Лист подобрал.
Расправил уголок.
На нём поставил жирно и гвоздасто
опричника подкованный сапог
печать благодаренья государства.
Подмётных писем в штанбе не нашли,
но ведь в глазах опричнины подмётна
любая буква,
в коей соль земли,
а не лукавство льстительного мёда.
До глубины жестоко уязвлён,
Иван собрал подводу —
и с подворья.
И — может быть, впервые в жизни — он
свободу мыслям тайным дал от горя:

«Как я верой в государя себя тешил,
свою голову почтительно клоня!
Государства я не пытывал, не вешал,
а оно немножко вешало меня.
Перед светлыми очами государства
говорю, не ждущий правого суда:
не достоин я подобного коварства,
ибо не был сам коварным никогда.
Государство, я тебя любить старался,
я хотел тебе полезным быть всерьёз,
но я чувствовал, что начисто стирался,
если слушался тебя, как палки пёс.
Государство, ты — холопство и боярство,
царство лести, доносительство, вражда.
Чувство родины и чувство государства
у холопа не сольются никогда…»

Ты понял бы,
великий Гутенберг,
всю прелесть жизни русского коллеги,
когда он изгнан из Москвы,
поверх
гружённой только буквами телеги?
Ты понял бы,
прихлёбывая кирш,
как взвыл Иван в рукав,
никем не слышим,
когда ему,
как будто шавке:
«Кыш!» —
да хорошо,
что обошёлся «кышем».
Куда теперь тащить свои шрифты,
бездомные печатальные доски?
И корчился Иван от немоты,
как столькие неведомые тёзки.
Кто примет на чужбине,
кто поймёт,
что русские —
не просто гужееды?
Князь Курбский? —
Это царь наоборот.
А шведы —
это всё же только шведы.
Грязь,
всюду грязь,
как землю ни меси.
Свобода подозрительно острожна.
Жить невозможно русским на Руси,
а без Руси и вовсе невозможно.
Как гусляры, блукали облака.
Дорога, сыро пахнущая глиной,
как сказка про Ивана-дурака,
была такой извилистой и длинной.
И вдруг над рощей раскатился свист,
и, на дорогу выскочив намётом,
перед Иваном всадники взвились,
но у седла —
ни песьих морд, ни мётел.
Один —
он, видно, был у них старшой,
дыша ноздрями рваными хрипато,
ожогами покрытый, как паршой,
«Чего везёшь?» — спросил.
«Всё моё злато».
Продрав рогожу саблей сгоряча,
старшой узрел свинец:
«Что в клади?»
«Буквы».
«Для ча?»
«Для книг».
«А книги-то для ча?»
«Да для тебя, дурак…» —
печатник буркнул.
«Ах, для меня! —
старшой загоготал. —
Да я бы позапутался кромешно,
когда бы я моей рваниной стал
смысл букв твоих вынюхивать прилежно.
А вот свинец
действительно хорош —
нам подойдет под пули для пищалей…»
«Не дам!»
«Тогда убью тебя».
«Убьёшь —
не станешь вольным от своих печалей».
«Кто вольный?
Воли нет и у ворья,
и даже у расстриг — спроси расстригу.
Так через что же вольным стану я?»
«Как через что?
А через букву,
книгу…»
Старшой смекнул:
нет, это не купец.
Такое злато отбирать постыдно.
Ведь под ногтями не земля —
свинец,
но тот свинец —
его земля, как видно.
«Живи… —
сказал старшой, прямясь в седле. —
Пускай стреляют эти —
как их? —
буквы
и без пищалей —
сами по себе,
но чтобы после — кровь,
да не из клюквы…»
«Всё кровью в мире этом не решишь…» —
вздохнул печатник.
«Я не травоядный, —
осклабился старшой. —
Я — Ванька Шиш».
«И я — Иван».
«Иван — и царь треклятый.
Дошла до нас,
людей гулящих,
весть,
что присланная из-за окиянов
Ивангелье — такая книга есть.
Там про царя
или про всех Иванов?»
«Е-вангелье…»
«Так, значит, что ж — обман?
Видать, для книг мы недостойны слишком?
Но ты печатай книги нам,
Иван,
а мы авось подучимся буквишкам…»
И ускакали,
по бокам огрев
коней плетьми,
и это означало,
что и в своей неграмотности гнев —
уже народной грамоты начало.
«Ивангелью ещё придёт черёд… —
Иван подумал. —
Ещё будут бунты…»
А за плечьми
на сотни лет вперёд
в его телеге
грохотали буквы…***